

Азбука
PREMIUM

К Н И Г И
АЙРИС МЕРДОК
в серии
«Азбука Premium»:

Лучше не бывает
Черный принц
Механика небесной
и земной любви
Море, море

АЙРИС МЕРДОК

Механика
небесной
и земной
любви

Роман



Санкт-Петербург

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44
М 52

Iris Murdoch
THE SACRED AND PROFANE LOVE MACHINE
Copyright © Iris Murdoch, 1974
All rights reserved

Перевод с английского Натальи Калошиной

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Ильи Кучмы

ISBN 978-5-389-10366-5

© Н. Калошина, перевод, 2017
© Издание на русском языке,
оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®

Посвящается Норе Смолвуд

Мальчик опять стоял на том же месте, и собаки опять молчали.

Пора было задергивать шторы, но Дэвид медлил, вглядываясь в густеющие сумерки. Мальчик стоял под акацией у самого забора между Худ-хаусом и фруктовым садом, со стороны Худ-хауса. Маленькая неподвижная фигурка почти сливалась с полутьмой, от которой мозаично рябило в глазах. Почему-то Дэвид был уверен, что это именно мальчик, совсем еще ребенок, лет восьми-девяти. И что он пристально смотрит на дом. Пару дней назад, примерно в то же время, Дэвид уже видел его здесь, но так же неотчетливо. Странно, что молчат собаки.

Дэвид зашторил окно, включил свет. Идти вниз что-то выяснять не хотелось: все, что осталось по ту сторону плотной ткани, казалось несущественным, нереальным. Апатия и безадресное отвращение, почти не отпускавшие Дэвида в последнее время, мешали сосредоточиться. Он с размаху опустился на стул и окинул рассеянным взглядом груды книжек на полу. Книжки расплывались, как картинка не в фокусе. Дэвид произвольно помотал головой, словно стряхивая наваждение, отвернулся к зашторенному окну, трижды моргнул.

Он только что закончил снимать суперобложки со всех своих книг. Сдирая и в порыве непонятого исступления комкая глянцевые рубашки, он бросал их в большую картонную коробку. Теперь коробка стояла наполненная кри-

чаще-многоцветным ворохом, а тома на полу сдержанно поблескивали золотом корешков. Да, так гораздо лучше. Без обложек книги выглядели не в пример более строгими и красивыми — настоящими. Монти — Монтегю Смолл — как-то рассказывал Дэвиду, что он отметил сорокалетие, раздев таким образом всю свою библиотеку. «Книга в обложке всегда чего-то ждет», — сказал тогда Монти. И Дэвид решил, что его книгам не придется томиться в ожидании его семнадцатилетия. Подняв с пола тонкий темно-синий томик, он провел рукой по гладкой поверхности. «Катулл. Оксфорд. Классическая серия. Eхссuсiоr¹».

Болезненные ощущения, так неотступно сопровождавшие теперь Дэвида, не были следствием любовной истомы. Женщины — не считая матери — пока еще не слишком занимали его. Являвшиеся время от времени муки Эроса носили сугубо локальный характер, и он избавлялся от них без восторга, но и без лишних угрызений, когда оставался один у себя в комнате. Конечно, он мечтал о прекрасной Миранде, но в школе для мальчиков, где в основном протекали его дни, Миранды не было, как не было никаких иных предметов любви. Истинная причина терзаний Дэвида выглядела, пожалуй, не слишком вразумительно: его страшило, что он может не стать личностью. Он ощущал себя постыдно бесформенным, как личинка в период метаморфоза, которая уже наполовину выползла из старой оболочки, но по-прежнему тащит ее за собой. Само его страдание и то казалось смазанным и тусклым, безжизненным. Апатия и отвращение губили все.

Дэвид был брезглив. Ему противны были красные собачьи пасти с вываленными языками и то, как мать улыбается

¹ «Страдаю» (*лат.*). Сборник произведений Гая Валерия Катулла назван по последнему слову стихотворения «Odi et amo»:

Любовь и ненависть кипят в душе моей.
 Быть может: «Почему?» — ты спросишь. Я не знаю,
 Но силу этих двух страстей
 В себе я чувствую и сердцем всем страдаю.

(Перевод Ф. Е. Коршуа)

при виде своих собак, этой прожорливой слюнявой своры. За столом он поспешно отводил взгляд, когда у отца с вилки, а то и прямо изо рта кусок шлепался обратно в тарелку или когда отцовское лицо, уже после второй выпитой рюмки, начинало багроветь. Внутренние процессы организма, судорожные сокращения скользкой влажной слизи — внушали ужас. Его воротило от парочек, бесстыдно целующихся в кинозале. Будь это возможно, он бы перестал есть, в крайнем случае питался бы одними сухими крошками и в полном одиночестве. Любой намек на нечистоплотность вызывал у него приступ дурноты. Мать облизнула ложку и помешала ею в кастрюле, что-то жирное упало и было растоптано на кухонном полу. Лужайка за домом, вопреки всем материным усилиям, провоняла собаками. Иногда назойливый тошнотворный запах вползал в окна, в такие дни в доме нельзя было спокойно находиться, не то что есть. Да и сами собаки — обычные шавки, взглянуть не на что. Дэвид рано прочел «Собаку Баскервилей» и с тех пор боялся собак. Но в этом, естественно, он никогда никому не признавался.

Сегодня ночью ему снилась огромная голубая рыба, которая билась в волнах у самого берега. Рыбину швырнуло на Дэвида, исполинская пасть отворилась, и в этот момент он увидел, что задняя часть тела у рыбы вовсе не рыба: длинные девичьи ноги отчаянно молотили по воде. Дэвид в ужасе проснулся; под окном выла собака. В детстве он часто пересказывал свои сны отцу, и теперь ему казалось, что отец до сих пор разгуливает среди его сновидений — не живет в них, а именно разгуливает и наблюдает, как зритель. Лишь в последний год между сыном и отцом установилось наконец благословенное молчание. Дэвид долго лежал в постели, не размыкая век. Его одолевали сменяющие друг друга видения и лица. Чаще всего возвращалось лицо Христа: оно покачивалось перед глазами, словно нарисованное на тонкой вуали, и сперва поражало своей красотой, а потом постепенно превращалось в ухмыляющуюся маску. Раньше Дэвид не мог жить без молитвы; теперь Христос

стал его мучителем. Присутствие вездесущего соглядатая превратилось чуть ли не в галлюцинацию. Зачем в него вбили эту ненужную, нелепую веру, когда он по малолетству еще не мог от нее защититься? И как получилось, что из мирного материнского христианства и необременительного англиканского учения, преподанного ему в стенах частной школы, произошло это тайное рабство, это суеверное подчинение всему самому мишурному и показному, что есть в религии? Искренние и страстные разговоры с Богом давно кончились. Остались бессмысленные ритуалы, от которых пахло чем-то до бесстыдства домашним: матерью, материнскими коленями. Слезливая, нелепая фамильярность — удел божества, лишенного достоинства, строгости, лишенного самой тайны. И как теперь от этого божества избавиться?

Дэвид встал и направился к двери. В большом зеркале, подвешенном к стене по настоянию матери, отразился стройный голубоглазый юноша с длинными локонами. В детстве их называли «льняными», и они до сих пор сохраняли нежный золотистый оттенок. Золото волос, разметавшихся по плечам, — как на картинах прерафаэлитов. Тонкая талия, безупречная осанка, чистота во всем облике. «Я одиночка, — подумал Дэвид, вглядываясь в свои черты. — Всегда буду одиночкой. А скоро, теперь уже скоро я стану мужчиной». Мысленно он произнес это слово так, как можно было сказать «грифоном» или «химерой».

Отражение в зеркале чем-то позабавило Дэвида, и он улыбнулся. Он всегда представлял самого себя в образе возлюбленного апостола.

Харриет Гавендер (урожденная Дервент) тоже видела мальчика, но не во второй раз, как Дэвид, а в первый. И ее тоже удивило, что собаки не залаяли. Когда в сумерках она вышла подышать плывущими над лужайкой цветочными ароматами и послушать тишину, мальчик уже стоял возле забора, отделяющего Худ-хаус от сада Монти; маленькая неподвижная фигурка почти сливалась с темным стволом

акации. Харриет застыла на месте, сердце ее сковал страх. Последнее было совершенно непонятно: ребенок из любопытства забрел в частные владения — что тут страшного? Но вдруг вспомнился сегодняшней сон. Ей снилось, будто она у себя в спальне, в постели (но без Блейза), и будто ее разбудил странный свет из окна. Это не сон, сообразила она и встала проверить, что там. Источник света покачивался в ветвях прямо напротив окна: лучезарное детское лицо — только лицо, больше ничего. Оно было обращено к ней, смотрело прямо на нее. Харриет бросилась обратно к кровати. «А если оно приблизится и начнет заглядывать в комнату?» — думала она, натягивая на себя одеяло.

От этого ночного видения, которое выплыло из памяти только сейчас, заломило глаза, как от яркого света, и Харриет поспешно перевела взгляд на темный фасад дома. В окне второго этажа мелькнуло лицо сына. Дэвид не заметил ее, он тоже смотрел в сторону акации. Впрочем, он тут же задернул окно, за шторой вспыхнул свет, и лужайка будто сразу потемнела. Когда Харриет отвернулась, мальчика уже не было. Летучая мышь — легкая, почти бесплотная частичка надвигающейся темноты — бесшумно металась над головой, исчерчивая пространство черными острыми крыльями. Может, то был вовсе не мальчик, а призрак, забредший из другого мира: постоял, посмотрел молча и исчез? А может, он вообще ей примерещился? Глупости, одернула себя Харриет. Мальчик как мальчик, никаких призраков.

Она вышла на середину лужайки, несколько раз глубоко вздохнула. Где-то коротко взворковала одинокая горлица. Роза, склонившаяся над самшитовой изгородью, догорала розовым люминесцентным светом. Черный дрозд, перевоплощаясь в соловья, завел длинную страстную руладу; по вечерам птицы всегда поют гораздо старательнее и самозабвеннее. Днем небо было затянуто облаками, но теперь облака скрылись где-то между верхушками фруктовых деревьев — таких родных, что их можно было видеть не глядя, и небо стало тусклым, тускло-белым, разве что чуть сероватым, уже до утра. Приближалась середина лета, сегодня

как раз был день летнего солнцестояния. Ночь летнего солнцестояния, поправилась Харриет. За этой мыслью тотчас явилась другая, тоже приятная, но с горчинкой: время идет. Харриет так любила по-английски неспешную череду времен года, торжественную и печальную, тем печальнее, чем больше воспоминаний накапливалось в душе. Сейчас из памяти выплыли летние вечера времен ее девичества: безвозвратно канувший мир, в котором она ночи напролет танцевала в обнимку с юными лейтенантиками.

У Монти в одном из окон зажегся свет, едва различимый за деревьями. Харриет подошла к забору и всмотрелась. Как там Монти? Что он сейчас делает? Тоскует? Рыдает? Правда ли он так жаждет одиночества? Сердце Харриет изнывало от сострадания, стремясь постичь тайну печального отшельника. Монтегю Смолл, ближайший сосед Гавендеров, занимал Локеттс — так назывался небольшой дом постройки примерно тысяча девятисотого года. Дом был возведен по распоряжению тогдашнего владельца Худ-хауса в дальнем конце его собственного, в те времена весьма обширного земельного участка. Владелец, кстати говоря, сам потом перебрался из старого дома в новый; в результате чуть ли не весь участок — включая и сад, предмет вожделений Блейза, — отошел к Локеттсу, а Худ-хаус был продан отдельно с одной квадратной лужайкой, монументальной самшитовой изгородью и старой акацией в придачу; к этому набору Харриет потом добавила цветочный бордюр и несколько розовых кустов. Было бы гораздо логичнее, не раз сетовал Блейз, сохранить сад за Худ-хаусом. Он был бы естественным продолжением их лужайки, тогда как собственно локеттсовский участок расположен под прямым углом к саду и вообще выходит на другую улицу. На что Харриет обычно отвечала, что, возможно, мистер Локетт (ибо новому дому достался не только фруктовый сад, но и имя прежнего владельца) был человеком не слишком логичным.

Из-за этой сложной конфигурации участка, а также из-за того, что сам Локеттс (настоящая жемчужина ар-нуво) представлял собою интересное, в известном смысле даже

значительное строение, для обитателей Худ-хауса всегда было важно, кому он принадлежит. Рядом стоял еще один дом, но его хозяйка — дама почтенных лет, некая миссис Рейнз-Блоксем, — вежливо уклонялась от общения с соседями. (Лично против Гавендеров почтенная дама ничего не имела: так же вежливо она уклонялась и от всякого другого общения.) Когда несколько лет назад Гавендеры вселились в Худ-хаус, Локеттс пустовал. Приезд Монтегю Смолла («того самого», как радостно известил всех Дэвид, знаток по части триллеров) и его эксцентричной красавицы-жены, швейцарки и бывшей актрисы, вызвал у обитателей Худ-хауса вполне естественный интерес. Долго мучиться любопытством не пришлось: Смоллы держались мило и дружелюбно, разве что чуточку индифферентно. Почему-то Харриет показалось естественным, что Локеттс стал именно *писательским* домом! Монти всем понравился. Харриет пыталась делать вид, что ей нравится и Софи, пыталась даже искренне ее полюбить, но не слишком в этом преуспела: для нее Софи оставалась неисправимой иностранкой. Блейз, тот сразу без околичностей заявил: «Господи, только бы эта женщина не напросилась ко мне в пациентки!» А через какое-то время Монти пришел к ним с изменившимся до неузнаваемости лицом и сказал, что у Софи рак. Последовала полоса отчуждения: Софи не появлялась, Монти всех сторонился. Потом Софи умерла. Это произошло около двух месяцев назад. Монти переживал утрату очень тяжело. «Никогда не видел, — признался Блейз, — чтобы овдовевший мужчина так убивался».

Харриет отвернулась и пошла в сторону дома. С белого ночного неба на лужайку лился тускло-белый свет. Дрозд завершил свою долгую руладу, вдали уже ухала сова. Зажглась первая звезда — Юпитер, как-то объяснил матери Дэвид. Венера появляется только после двух. Было тихо-тихо, почти как в деревне, в уэльском детстве Харриет. Конечно, настоящий сельский Бакингемшир был дальше, а тут дома тянулись до самого Лондона, и зимними ночами небо над Худ-хаусом окрашивалось красноватым отблеском

городских огней. В кабинете у Блейза зажегся свет. Какой это все-таки милый, квадратный, до невозможности *домашний* дом — Худ-хаус! Покатая сланцевая крыша, стены превосходной кладки со вставками песчаника, высокие ранневикторианские окна — самый старый и самый красивый дом во всей округе. Он навевал на Харриет мысли о морском побережье. Возможно, неуловимое курортное очарование исходило от белых балкончиков с чугунными коваными решетками на втором этаже. Дом был не очень большой, но лучший и самый роскошный из всех, в каких Харриет доводилось жить. В первые годы после свадьбы они с Блейзом о таком даже не мечтали.

Харриет скорее угадала, чем почувствовала бесшумное движение рядом с собой, и что-то теплое, влажное скользнуло по ее руке. Это был черный овчарочий нос Аякса. Тотчас как из-под земли выросли остальные собаки и принялись выражать свою радость — не бурный собачий восторг, но спокойную радость, — подпрыгивая и топчась вокруг хозяйки слаженно и грациозно. Этот собачий кордебалет появился в жизни Харриет, в общем-то, случайно. Собаки (все они принадлежали не Дэвиду и не Блейзу, только ей) жили, разумеется, не в самом доме, а в старом гараже, где Харриет постаралась разместить их со всеми возможными удобствами. В свое время, правда, она пыталась «одомашнить» маленького лохматого Ганимеда, но комнатная собачка из него так и не получилась. У собак, как и у людей, несчастливое детство налагает отпечаток на всю жизнь. К тому же это выглядело несправедливо по отношению к остальным собакам, которых тогда было четыре. Теперь их набралось уже семь: Аякс — восточноевропейская овчарка, малыш Ганимед — черный карликовый пудель, Бабуин — черный спаниель, Панда — полукровка-лабрадор, тоже почти совсем черный, но с белыми отметинами, эрдель Баффи, колли Лоренс и черно-белый терьерчик по кличке Ёрш. Первоначально предполагалось, что все собаки будут черные и у всех будут классические имена, но эта идея быстро себя изжила.

Аякс — он был первый — появился из-за того, что Харриет было не по себе в большом доме, когда Блейз по ночам работал с пациентами (с Магнусом Боулзом, например). В детстве она панически боялась кошек и каждый вечер перед сном тщательно обыскивала свою спальню: вдруг кошка спряталась в каком-нибудь темном углу. Позднее ей внушали страх воры-домушники, бродяги, цыгане. Блейз объяснил ей, что все эти воры-грабители не более чем символы сексуальной сферы, но это замечательное знание ничем ей не помогло, и она по-прежнему, затаив дыхание, вслушивалась в ночные звуки. В конце концов она поехала в Лондон, в Баттерсийский дом собак, и привезла оттуда Аякса, взрослую уже овчарку. Впоследствии это превратилось в привычку. «Стоит тебе только захандрить, как ты заводишь новую собаку», — выговаривал ей Блейз. И все же вызволить из клетки живое существо, жалкое, преданное и прекрасное, — в этом было что-то трогательное, почти животворящее.

— Нет-нет-нет, мальчики, не сюда, — скороговоркой бормотала она. — Вы уже кормленные, так что давайте-ка назад, мои хорошие!..

Захлопнув дверь кухни перед скоплением черных разочарованных носов, Харриет включила свет. Блейз столько раз уговаривал ее переделать все по-новому, но она не соглашалась, и они продолжали завтракать, обедать и ужинать здесь же, на кухне — за дощатым сосновым столом, покрытым красно-белой клетчатой скатертью. Кухня была просторная, несколько сумбурная и темноватая — как раз такая, как хотелось Харриет: все просто, непритязательно и словно пропитано запахами прошлого. Все, что было на кухне деревянного, давно потемнело — не мешало бы и почистить. В раковине скопилась гора немытой посуды; но Харриет лишь скользнула по ней равнодушным взглядом и направилась к лестнице на второй этаж. Как всегда с трудом удержавшись от соблазна заглянуть к сыну, она прошла к себе в будуар — так называлась крошечная, заставленная чем попало комнатка, служившая когда-то гардеробной.

В остальном доме царил вкус Блейза, гораздо более строгий и придирчивый. Харриет, у которой сердце болело за всякую живую тварь и которая могла по десять минут кряду обмывать каждый салатный листик, лишь бы не задавить ненароком какую-нибудь козявку или невинного червячка, не задумываясь переносила свое сострадание и на неодушевленные предметы. После смерти родителей основные фамильные ценности перекочевали в лондонскую квартиру Эдриана, но, кроме ценностей, осталась еще масса разрозненных и совершенно бесполезных вещей и вещей: какие-то с детства хранимые сокровища, медные безделушки и тому подобное ассорти, до которого никому не было никакого дела. Постепенно все это осело у Харриет вперемешку с заморской экзотикой — пестрыми дарами восточных базаров, которые Эдриан с отцом в свое время привозили ей из Бенареса, Бангкока, Адена или Гонконга. Кувшины, подносы, шкатулки, зверушки, человечки, какие-то божки, чьих имен Харриет не знала, — Блейз называл все это «хламом старьевщика», а Харриет ругал «барахольщицей», но втайне все же любовался ее нелепым «анимизмом». Теперь, после смерти Софи, в будуаре появились еще и подарки Монти, втиснутые куда-нибудь в середину или свисающие с углов. Всякий раз, когда Харриет забегала в Локеттс, Монти вручал ей какую-нибудь тарелку, или статуэтку, или подушечку, или вышитую салфетку — будто хотел поскорее раздеть Локеттс догола, лишит память.

Стены будуара были увешаны фотографиями и картинами. Последние принадлежали кисти самой Харриет (когда-то она мнила себя художницей): бледные расплывчатые акварели и несколько картин, написанных маслом, — из-за обилия световых бликов, нанесенных старательной ученической кистью, казалось, что краска на них местами осыпалась от времени.

Фотографии были семейные: венчание родителей, венчание самой Харриет, Дэвид маленький, Дэвид постарше, еще старше; Блейз совсем молодой — стройнее, тоньше и как будто резче сегодняшнего; отец в военной форме; брат, тоже в форме; мать, увядающая красавица, для которой

«славы победное шествие» обернулось чередой нескончаемых странствий и обманутых надежд. Харриет родилась в Индии, когда ее отец служил в Деолали — преподавал артиллерийское дело в артиллерийской школе. Мать Харриет попала в Индию случайно, приехала в гости к дальнему родственнику-дипломату, чтобы провести в Дели один сезон, да так и осталась. Здесь, на балу, состоялось ее романтическое знакомство с будущим супругом, капитаном Дервентом. В день бракосочетания за их свадебным кортежем шествовал слон под узорным чепраком. (Фотография слона была тут же на стене.) Вскоре после этого будущий отец Харриет был откомандирован в Англию, потом началась война. Капитан (уже майор) Дервент служил артиллерийским инструктором в Каттерике, потом командовал противоздушной батареей в Уэльсе. Позже его перевели в Вулдидж, еще позже в Германию, но выше майора он так и не поднялся. Мать Харриет следовала за мужем из гарнизона в гарнизон, с одной меблированной квартиры на другую. (Лишь под конец ее терпение иссякло, в Германию она уже не поехала.) Был, правда, домик в горах, в Уэльсе, где детям так нравилось. Было вечное безденежье и никакой романтики. Слон с узорным чепраком остался в далеком прошлом. Овдовев, миссис Дервент осела в Ирландии, и в последние годы Харриет с ней почти не виделась. Мысль о матери отозвалась в сердце Харриет привычной нежностью, и из памяти тут же выплыли картинки деревенской жизни: корзина с ежевикой, терн, собранный для настойки, золотистый айвовый джем, сухой вереск под копытцами маленьких пони, запах жимолости, запах влажного сена, ванильный вкус желто-коричневых яблок. Эти воспоминания — такие яркие и в то же время расплывчатые — были очень дороги Харриет. Во всякую свободную минуту нужно думать о людях с любовью, считала она. Особенно о мертвых, поскольку они бестелесны и более живых нуждаются в нашем участии.

Харриет обернулась к голландскому зеркалу в инкрустированной раме (Блейз подарил на Рождество) и слегка

поправила прическу. Ее длинные, чуть отливающие золотом каштановые волосы были скручены узлом на затылке. Перед зеркалом круглое спокойное лицо Харриет сделалось еще спокойнее. На ней было длинное — «викторианское», как говорил Блейз, — муслиновое платье в мелкую крапинку. Харриет всегда старалась одеваться по возрасту. Некоторые из ее подруг давно располнели, но по-прежнему воображали себя юными стройными девицами. Харриет села за стол и вскоре почувствовала, как ею овладевает привычная праздная грусть. В такие минуты она казалась сама себе бездумной, безвольной и безмерной — как огромная мягкотелая тварь, недвижно висящая в толще морской воды, или даже как целый необитаемый континент. На самом деле эта бесформенная огромность была формой ее счастья. Такая форма — или матрица, хотя Харриет не пришло бы в голову обозначить ее подобным словом, — есть у каждого из нас. Эту форму наше сознание принимает в состоянии ленивой расслабленности; она может показаться кому-то некрасивой, даже уродливой, но именно она составляет суть нашего счастья. Харриет была счастлива, и дом был счастлив вместе с ней, прогретый ее немного сумбурным, но все же ровным и спокойным теплом.

Конечно, и у нее на душе временами бывало беспокойно — чаще всего из-за Дэвида; или становилось иногда жаль своего маленького загубленного таланта. Но она любила, она была любима, совесть ее была чиста — и этого, при ее характере, было довольно для счастья, для того чтобы ее отношения с текущим временем оставались неспешными и доверительными. Счастье ее выглядело порой грустноватым, но всегда улыбалось. Она любила своего мужа, сына, любила брата и умела смотреть на все жизненные невзгоды сквозь призму этой любви, и невзгоды рассеивались. Иногда она ощущала себя совсем маленькой и ничтожной — «сошкой-мошкой» — и страшно жалела, что не стала великой художницей или не важно кем, но великой. В свое время она училась в художественной школе и вынашивала честолюбивые планы. Но раннее замужество, вкупе с тем

обстоятельством, что Блейз никогда не воспринимал ее призвание всерьез, заставило ее забросить кисть. Она была не как все, не похожа на всех, но эта ее непохожесть оказалась настолько частью ее самой, что она считала себя чуть ли не бессовестной эгоисткой. Ей не нужно было преодолевать ни себя, ни жизненные невзгоды, милосердие давалось ей легко, вознаграждалось щедро. Я жуткая эгоистка, говорила она себе, потому я и не стану великой. Что-что, а величие мне не грозит.

Сейчас, впрочем, она размышляла не о себе, а о сыне. Наверное, через это должна пройти каждая мать, думала она. Чудесная близость не могла длиться вечно. Дэвид отдалился сначала от Блейза, а теперь и от нее. Блейз говорит, это естественно, так и должно быть. Самое ужасное, что к нему стало вдруг нельзя прикасаться; и Харриет, для которой прикосновения всегда были важной частью жизни, пребывала теперь в тревоге и растерянности. Дэвид начал уже мерещиться ей — казалось бы, вот он, протяни руку и потрогай, — но нет; ее бросало то в жар, то в холод, и все это очень походило на муки неразделенной любви. Да, все приметы влюбленности налицо. Хочется расцеловать его, обнять, как раньше, осторожно распутать золотые пряди, такие длинные, кошмар, — но нельзя, невозможно! А в этом году он, как нарочно, возмужал, стал такой красавец, и Харриет совсем измучилась. Его загадочная «античная», как выражался Блейз, улыбка наполнилась для нее тайным, чуть ли не эротическим смыслом. Он был теперь высокий, суровый — просто неприступный ангел, хотя внутри наверняка все тот же славный и смешной малыш. Появились какие-то новые привычки, которых она не понимает, вообще ужасно много такого, о чем она ничего не знает и узнать невозможно. Например, раскладывает ли он до сих пор на тумбочке свой перочинный ножик, компас и прочие сокровища, прежде чем выключить на ночь свет? Когда-то мысль о том, что Дэвид молится перед сном за них с Блейзом, была для нее радостью и утешением: увы, собственная ее вера с годами явно ослабевала. Молится ли сейчас? Спросить? Но об этом

не могло быть и речи. Харриет знала, что некоторые матери флиртуют со своими взрослеющими сыновьями. Для нее это было абсолютно исключено. В своем новом качестве Дэвид, кажется, обладал новой властью — он умел налагать вето, и Харриет прекрасно сознавала, что ей дозволено, а что нет. Так нельзя, думала она, надо взять себя в руки. Это как конец романа, когда надо прощаться и рвать все нити, одну за другой. Неужели и ей придется все рвать? Нет, нет, просто Дэвид вырос, это естественно, это никакой не конец. Ее любовь никогда не закончится, никогда не потускнеет. Одно плохо: она пока не совсем понимала, как, какой новой любовью нужно теперь любить сына, чтобы не надо было что-то вечно от него скрывать, а ему что-то вечно подозревать и о чем-то догадываться. Харриет уронила лицо на руки. Кто сказал, что «для женщины вся жизнь — любовь»? Как это верно для нее и как страшно.

Блейз Гавендер поужинал с удовольствием. Он любил поесть. Ели спаржу, она так приятно отдавала мочой. За домом Харриет, конечно, смотреть не умеет, но готовит вполне пристойно. Садясь за стол, он был не в духе: перед этим он зачем-то отчитал человека, который приходил снимать показания электросчетчика. Видимо, человек показался ему недостаточно вежливым, и Блейз решил разыграть перед ним деревенского сквайра. Ну и к чему было так распляться? Впрочем, досадный инцидент быстро стерся из памяти, переварился, как спаржа. Возможно, он просто привык воспринимать всех проходящих в дом как «пациентов» и по инерции стремился поставить их на место. Сейчас он был занят реставрацией японской вазы Харриет. Неторопливо склеивая разложенные на столе осколки, он скреплял их изнутри скотчем и одновременно пытался мысленно сосредоточиться на своей работе с пациентами. Надо сказать, что в целом и то и другое у него получалось. Увы, иногда он ненавидел своих пациентов. Скверно, думал он, мои методы имеют смысл только тогда, когда отношения с пациентами строятся на любви. Что, конечно, чревато ослож-

нениями. Монти как-то обронил в разговоре, что любопытство без любви к человеку или к науке всегда вредоносно. Он тогда говорил о писателе и его персонажах, но Блейз тут же перенес высказывание на свою работу, и оно показалось ему как нельзя более точным. Да, ему нравится его работа, но что ему в ней нравится? Даже если для себя он давно уже ответил на этот вопрос, это не снимало другого вопроса: что делать дальше? Проблема была не в том, что он не умел лечить пациентов. Умел и лечил.

Мысль о Монти вызывала раздражение, хотя человек он талантливый, интересный, это ясно. Но дело в том, что они слишком много успели друг другу наговорить. В царстве животных самцы по большей части сторонятся друг друга и при встрече производят угрожающие телодвижения — просто так, по велению инстинкта. Дрозды в саду начинают топорщить перья, стоит им только издали заметить чужака. Он, конечно, сам виноват, что согласился взять Монти к себе в пациенты. Хотя эта часть их отношений, слава богу, длилась недолго. Он даже не успел разобраться, чего Монти от него хотел. Когда стало ясно, что целимый вот-вот задавит целителя своим авторитетом, Блейз поспешил закруглиться с лечением.

Пока Блейз возился с осколками вазы, как с пазлом (кажется, один кусочек куда-то делся), из памяти выплыл вчерашний сон. Он стоял на лужайке, возле акации, и вдруг кора дерева как-то странно зашевелилась. Блейз присмотрелся: по стволу медленно сползала большая змея. Он с ужасом и одновременно с какой-то тайной радостью следил за ее приближением. Но это была не совсем змея, потому что на спине у нее были длинные глянцевые крылья, сложенные, как у жука. Спустившись по стволу, змея, вернее, существо подползло к самым его ногам, угрожающе приподняло голову, распахнуло огромные крылья и начало бить ими сильно и часто, так что Блейз чуть не задохнулся. Хвост, длинный и тонкий, на конце не толще карандаша, обернулся вокруг одной ноги Блейза, причем нога оказалась женская, потому что во сне он был женщиной. Интерпретировать такой сон

было проще простого. У любого человека в душе намешано много всякой дряни. И у него тоже.

Да, в его снах теперь не осталось ни тайны, ни волшебства. Он машинально начинал интерпретировать их, еще не проснувшись. Да и сны пациентов редко удивляли или трогали его. Пациенты давно уже казались ему на одно лицо, все вели себя совершенно предсказуемо и сливались в одну серую массу. Это для Харриет каждый из них был полон тайны, и к каждому она относилась с неизменным благоговением. Блейз в основном принимал пациентов дома, так что Харриет знала почти всех, пусть даже на уровне «здравствуйте — до свидания». Ей бы пошло быть женой директора школы, очень уж ей хотелось с каждым познакомиться поближе, каждому помочь. Разумеется, она уважала главенство Блейза и никогда не навязывалась. Но будь это возможно, она бы, кажется, пришивала его пациентам пуговицы. Такой женщине надо иметь шестерых детей, а не одного, думал Блейз. В свое время его тоже огорчало, что после Дэвида у них больше никого не было. Харриет страдала, хотя и не вполне осознанно, от избытка невостребованной любви, как кормящие женщины иногда страдают от избытка молока. Она чувствовала в себе огромные запасы любви, и то, что этими запасами могли пользоваться всего два человека — муж и сын, — не давало ей покоя.

Некоторые пациенты лечились у Блейза годами и в известном смысле могли сойти за детей. Они уже «прижились», и избавиться от них было бы теперь не так просто. В последнее время Блейз начал собирать их в группы и готовить к ответственному моменту окончания лечения — как бы к перерезанию пуповины. Для него прощание со старыми пациентами означало заманчивую, и не только в финансовом отношении, возможность взять новых. Правда, теперь и новые уже не были окутаны для него девственным покровом тайны, прошли те времена; зато хоть какое-то разнообразие. У каждого из пациентов, нынешних в том числе, была своя идея фикс, своя «причина», которая, по их разумению, привела их к специалисту. Но за этой причиной

нередко скрывался целый ряд других причин, о которых бедняги даже не подозревали. Стэнли Тамблхолм испытывал непреодолимый страх перед собственной сестрой. Анжелику Мендельсон снедала ревность, причем предметом ее любви были члены королевского семейства. Морис Гимаррон считал, что он совершил тяжкий грех против Святого Духа. Септимуса Лича тяготил нереализованный писательский талант. Пенелопа Биггерс не могла спать, так как боялась, что впадет во сне в летаргическое состояние и будет похоронена заживо. Хорас Эйнсли (который раньше был личным врачом Блейза и по сию пору пользовал Монти) страдал хронической неспособностью принимать решения из-за иррационального чувства вины. У Мириам Листер дочь была одержима мыслью об убийстве, и Блейз лечил ее через мать. Джинни Батвуд была озабочена проблемой сохранения собственной семьи. Нельзя сказать, чтобы Блейз вовсе не прислушивался к тому, что пациенты говорили сами о себе. Он хорошо помнил урок, преподанный ему одной дамой еще в начале его практики. Дама никогда не снимала перчаток, поскольку на руках у нее, по ее словам, были стигматы. Лишь после нескольких встреч Блейз догадался попросить ее снять перчатки — и оказалось, что у нее действительно стигматы. Что не помешало ей впоследствии благополучно пройти курс лечения от истерии.

Блейз прекрасно сознавал, что не обладает достаточной квалификацией для той работы, которой занимается. Теперь у него накопился солидный опыт, и он уже не боялся допустить какой-нибудь непростительный ляпсус. Однако, хотя он не говорил об этом никому, кроме Харриет, и то полушутя, причем она каждый раз горячо возражала, сам он в известном смысле расценивал свою практику как шарлатанство. Дело в том, что у него не было медицинского образования. В Кембридже он изучал философию и психологию, защитил диссертацию по психоанализу, после чего преподавал психологию в университете в Рединге. (В первый год преподавания он и познакомился с Харриет на одной танцевальной вечеринке.) Свой собственный метод лечения он

применил когда-то впервые в рамках довольно рискованного эксперимента. Насмотревшись на других специалистов в этой области, он решил, что у него должно получиться лучше, — и, возможно, не ошибся. Разумеется, ему нравилась власть, как и всем, кто выбирает полем своей деятельности людские души. И разумеется, он сознавал, что погружение в чужие страдания имеет больше отношения к сексу, чем к альтруизму или научному интересу. Но и эти вопросы его давно уже перестали беспокоить. Просто, подобно священнику, он научился купировать боль, грызущую изнутри, которая может искалечить человеческую жизнь, даже если объективно никакой трагедии нет. У него был на это особый талант. И особая сила. Спрашивается, откуда в таком сильном и талантливом человеке столько растерянности и недоверия к самому себе? Ведь глупо воротить нос от своего дела только из-за того, что оно наконец стало легким и доходным.

Когда мысль о том, чтобы оставить практику и идти учиться на врача, явилась впервые, Блейз отверг ее как нелепицу, как тайный план самоистязания, возникший из комплекса вины, притом к делу не относящейся. Отказаться от стабильного дохода, обречь себя, в его-то годы, на долгую экзаменационную тягомотину, на тяжкий труд, на покорность чужому мнению? Ну уж нет! Налицо знакомое (по историям его же пациентов) стремление немолодого человека устроить себе очистительное испытание — любой ценой. К тому же отец Блейза был в свое время преуспевающим врачом — тут уж все сыновние мотивы видны как на ладони. Однако навязчивая идея возвращалась снова и снова, Блейз даже стал ее побаиваться. Конечно, учитывая характер его работы, ему полагалось знать много вещей о мозге, о нервной системе — он их не знал. Выходило, что он окружен тайнами со всех сторон. Однако время шло, и постепенно ситуация прояснялась: вместо стремления повысить свой профессиональный уровень на первый план все определеннее выступало стремление к радикальным переменам. В последнее время — по разным причинам — он пе-

рестал читать, перестал думать. Ему нужна была серьезная интеллектуальная встряска.

Теперь ему уже казалось, что само его увлечение этим чарующим, зачарованным, совершенно отдельным миром психоанализа было с самого начала обусловлено одной только его собственной внутренней потребностью. Многочисленные «школы» были для него как волшебные сады — в каждом свои деревья и цветы и своя планировка, каждый обнесен собственной высокой оградой. К пациентам Блейз подходил как прагматик, а еще точнее, как эмпирик в простейшем смысле этого слова. Он просто внимательно следил за тем, какой метод «сработает», и старался с точки зрения здравого смысла объяснить, как именно он «сработал» *ad hoc*¹. Его давно уже не заботило, к какой школе принадлежит он сам, как не заботила научность или ненаучность собственного подхода. Когда-то он порывался написать обо всем этом серьезную книгу, но порыв давно иссяк. Время от времени он записывал какую-нибудь мысль, которая едва тянула на статью, позволяя Харриет, коль скоро для нее это так важно, по-прежнему верить в существование «книги». Его же теперь волновали другие, более серьезные вопросы. В результате опыта, и собственного и своих пациентов, он постепенно утрачивал веру во все «базовые» теории о человеческой душе. Он мог успокоить пациентов словами о том, что «жизнь штука длинная» или что «надо принимать себя таким, каков ты есть», и от его слов они переставали корчиться в муках вечной вины. Но для него самого все эти, как он их некогда определил, «поверхностные явления морали и свободы» оставались запутанным клубком. Как будто он, вместе со своими пациентами, нашел для себя убежище в иллюзорном и, при всех его страхах, комфортном мире. Но, научившись в этом мире избавлять своих пациентов от проблем, он так и не избавился от них сам и принимал необратимые решения по старинке, вслепую. Возможно, он просто до смерти устал — от копания в человеческих

¹ В данном случае (*лат.*).

душах, от самого себя, от собственных уверток и уловок; и точно так же, как некоторые, устав от мира, обращаются к Богу, так он желал теперь обратиться к науке.

Когда он заговорил об этом с Харриет, она не все поняла, но преисполнилась самого горячего сочувствия. Блейз сознавал, что им, может быть, придется продать Худ-хаус и жить какое-то время гораздо скромнее, чем они привыкли, сознавал, что Харриет будет нелегко. Долгие часы его быличного рабства (в душе он и воспринимал их как рабство, как своего рода послушание) превратятся для нее в еще более долгие часы одиночества. Однако ей больше всего на свете хотелось, чтобы он был счастлив и чтобы он смог себя реализовать. В сущности, она жила его желаниями. Теперь она уже представляла себя «женой доктора». Да, ему здорово повезло. В юности он и представить не мог, что женится на совершенной неинтеллектуалке. Но зато вся ее чуткость и все внимание были так неизменно нацелены на него, что он вполне обходился и без интеллектуальных бесед. С Харриет ему не бывало скучно, от нее всегда исходило ощущение свежести и сосредоточенной напряженности, но напряженность эта казалась почему-то легкой и естественной — ничего похожего на выверты его пациентов. Харриет дарила Блейзу то, что Наполеон превыше всего ценил в женщине: чувство покоя. Даже ее расплывчатая вера, на которую Блейз и раньше не посягал — надеялся, что пройдет сама собой, — даже она, кажется, сделалась ему теперь необходима. Как и любимый ее жест: она по-особенному протягивала руки ему навстречу, когда он входил в комнату. В целом можно было сказать, что за годы совместной жизни он многому у нее научился, не только милосердию к козьям и паучкам.

Пока Блейз думал обо всем этом, а также о другом, наступили сумерки, японская ваза наконец-то склеилась, он отодвинул ее и встал. Не зажигая света, подошел к окну. Внизу, у самой кухонной двери, стояла Харриет, спиной к дому. Ее фигура, неподвижная, уже не очень четко различимая в полумгле, была пронизана вечерним покоем и сама

будто добавляла покоя летнему вечеру. Харриет была еще красива той «романической» красотой, которая когда-то представлялась ему видением из нездешнего, нравственно-го мира. Блейз любил даже ее смешные струящиеся платья с широкими поясами, к которым придирчивый эстет наверняка посоветовал бы подобрать стан постройнее. Он перевел взгляд на крону старой акации, потом на темные купы фруктовых деревьев за забором. Монти как будто собирается съезжать из Локеттса. Может, он согласится продать сад? Впрочем, глупости, время ли сейчас думать о таких покупках? Харриет прошла несколько шагов по лужайке, и, конечно, за ней тут же увязались ее питомцы — вон они выются вокруг нее, целая свора черных привидений. Блейз опустил шторы и включил свет.

Скоро время вечернего чтения. Интересно, придет ли Дэвид? Прошлый раз Харриет опять сидела, уставясь на него, надо будет с ней поговорить. И надо поговорить с Дэвидом насчет греческого. И с Монти насчет Магнуса Боулза. Боже, сколько всяких забот. А ему так хотелось дочку.

«— Где Настасья Филипповна? — прошептал вдруг князь и встал, дрожа всеми членами.

Поднялся и Рогожин.

— Там, — шепнул он, кивнув головой на занавеску.

— Спит? — шепнул князь.

Опять Рогожин посмотрел на него пристально, как давеча.

— Аль уж пойдем!.. Только ты... ну, да пойдем!»

Блейз захлопнул книгу. Конечно, и Дэвид и Харриет знали, что будет дальше, — хотя Харриет обычно говорила, что ничего не помнит. Но все равно Блейз любил прерываться на самом интересном месте. Он хорошо читал вслух — по-настоящему хорошо, с чувством, а не то что называется «с выражением». Традиция семейных чтений тянулась из тех времен, когда Дэвид был еще малышом. Они перечитали почти всего Вальтера Скотта, Джейн Остин,

Троллопа, Диккенса. Блейз исполнял роль тещи с удовольствием: наверное, в нем дремал нереализованный актерский талант.

Летом читали в комнате, которую Блейз называл утренней столовой, хотя она никогда в качестве таковой не использовалась, а зимой на кухне. На самом деле «утренняя столовая» служила гостиной (настоящей гостиной редко пользовались по назначению). Харриет уютно устроилась в кресле напротив мужа, с шитьем и коробкой шоколадных конфет под рукой. Она всегда шила во время чтения — в детстве Дэвид как-то сказал, что ему нравится смотреть, как она шьет. Интересно, нравится ли сейчас? Или наоборот, раздражает? Харриет теперь постоянно мучилась подобными вопросами. Из-за Дэвида множество милых мелочей — ритуалов счастливой семейной жизни — было уже поставлено под сомнение. Сейчас Харриет не очень умело штопала обтрепанную манжету на старой мужниной домашней куртке. Куртка вся была пропитана его запахом — не табачным, Блейз не курил, но настоящим крепким и спокойным мужским запахом то ли пота, то ли псины, который невозможно спутать с женским. Харриет ужасно захотелось прижать эту куртку к себе, зарыться в нее лицом, прямо сейчас, — но она давно уже научилась сдерживать свои порывы в присутствии мужа или сына, а тем более обоих сразу.

Дэвид сидел на полу, но не возле Харриет, спиной к ее ногам, как любил когда-то, а поодаль, опустив голову и подложив одну ногу под себя. Время от времени он морщился и по нескольку раз моргал, будто развитие событий в романе наводило его на какие-то неожиданные мысли. Его светлые, спутанные, давно не мытые волосы, выющиеся на концах, торчали во все стороны как попало. «Интересно, он их когда-нибудь расчесывает? — подумала Харриет. — Ах, взять бы гребень...» Но Дэвид уже поймал на себе ее пламенный взор, и ей пришлось спешно отводить глаза и разглядывать его линялые джинсы, худую торчащую коленку, грязную ногу в сандалии, узоры на ковре. Вздохнув, она отложила иглу.

Тем временем Блейз негромко дочитывал следующую главу, то улыбаясь от удовольствия — он умел ценить хорошую книгу, — то задумчиво хмурясь. Харриет была немного старше своего мужа и в такие минуты, наблюдая за ним, всегда ощущала разницу в возрасте. Какой он все-таки еще молодой. Конечно, не такой красавец, как Дэвид, но сильный и решительный, настоящий мужчина. У него прямые, с рыжиной волосы, всегда коротко остриженные, красноватое лицо с крупными чертами и квадратным подбородком, большой тонкогубый рот и продолговатые глаза — серо-голубые, цвета зимнего моря. У Дэвида глаза были тоже продолговатые, отцовские, только гораздо голубее, а у Харриет — самые обыкновенные, карие. В такие спокойные семейные вечера, когда муж и сын сидели рядом, ее переполняло ощущение счастья и одновременно мучительной тревоги. Жизнь слишком, слишком благосклонна к ней. Харриет снова вздохнула и отправила в рот еще одну конфету. Вспомнился вдруг давешний мальчик под акацией. Она даже чуть не рассказала о нем Блейзу, но сдержалась. Блейз решит, что это один из ее «вечерних страхов», и опять начнет доказывать, что все ее страхи что-то означают, когда на самом деле они ничего не означают. А может, мальчика и не было. Почудилось.

Дэвид чувствовал себя скверно, по-идиотски. Начиная с «Ветра в ивах» — а это уже было довольно давно — домашние литературные чтения давались ему с большим трудом. Молчаливый напор обоих родителей — немая мольба, немое принуждение — превратился для него в ежевечерний кошмар. Недавно он пару раз не спускался — и что? Сидел, стиснув зубы, у себя в комнате.

Взгляд Дэвида все время цеплялся за жирное пятно на лацкане отцовского пиджака, отовсюду лез назойливый запах молочного шоколада, который, причмокивая, жевала мать. Ладно, пусть бы жевала, думал он, только бы не смотрела на меня глазами влюбленной девицы. Разумеется, Дэвид нежно любил своих родителей, но в последнее время они стали так действовать ему на нервы — хоть вой. Сбе-

Мердок А.

М 52 Механика небесной и земной любви : роман / Айрис Мердок ; пер. с англ. Н. Калошиной. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. — 448 с. — (Азбука Premium).

ISBN 978-5-389-10366-5

«Самая английская писательница» XX века, Дама-Командор ордена Британской империи, тонкий психолог и блестящий стилист, лауреат многих престижных премий, включая Букеровскую, Айрис Мердок по праву считается одним из лучших романистов современности. Ее произведения, в числе которых такие литературные шедевры, как «Дикая роза», «Черный принц», «Море, море», переведены на многие языки и пользуются неизменной любовью читателей во всем мире. Роман «Механика небесной и земной любви» (в русском переводе вышел впервые под названием «Земная и греховная машина любви») был опубликован в 1974 году и удостоен Уитбредовской премии (с 2006 года премия Коста).

Герой романа, Блейз Гавендер, практикующий психоаналитик, решает чужие душевные проблемы, но с трудом справляется с собственными «странностями» и тайными желаниями. Годы назад, пытаясь бежать от своей «сложной сексуальности», он женился на простодушной и преданной Харриет. И когда в его жизнь вторгается искушение следовать своей истинной природе — в лице его любовницы Эмили, — Блейз впутывается в довольно скверную историю, погружаясь в существование на два дома, в котором соединяются расчет и предательство, раскаяние и страх, эгоизм и неодолимая страсть, сладкие сны, кошмары и иллюзии...

УДК 821.111

ББК 84(4Вел)-44

Литературно-художественное издание

АЙРИС МЕРДОК
МЕХАНИКА НЕБЕСНОЙ
И ЗЕМНОЙ ЛЮБВИ

Ответственный редактор Оксана Сабурова
Художественный редактор Илья Кучма
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Елены Долгиной
Корректоры Ирина Сологуб, Анна Быстрова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 07.02.2017. Формат издания 84 × 108^{1/32}.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 23,52. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».

170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60

E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах

на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



YAUUM1839501R